



В. А. КОШЕЛЕВ

«Византийский миф» в «Истории одного города»

Персонаж очерка «Войны за просвещение» Василиск Семенович Бородавкин обладал, по указанию автора, «какою-то неслыханной административной вьедчивостью», однако же руководил городом Глуповым дольше, чем остальные градоначальники — около 20 лет: с 1779 до 1798 года. Щедрин при этом выделяет его «особенность», отличающую его от градоначальников прежних: «он был сочинитель». Сочинял он не что иное, как проект о возвращении «древней Византии под сень российския державы», и «проект» этот (отмечает автор) вполне соответствовал насущным глуповским нуждам:

«Очень часто видали глуповцы, как он, сидя на балконе градоначальнического дома, взирал оттуда, с полными слез глазами, на синеющие вдалеке византийские твердыни. Выгонные земли Византии и Глупова были до того смежны, что византийские стада почти постоянно смешивались с глуповскими, и из этого выходили беспрестанные пререкания. Казалось, стоило только кликнуть клич...»

«Клича» никто не кликнул — и Бородавкину вспомнились стихи известного славянофила А. С. Хомякова. Из этих стихов Щедрин привел только заключительный рефрен — нам же не лишне вспомнить их целиком. Это стихотворение было написано летом 1847 года, когда Хомяков, во время своего заграничного путешествия, встретился в Праге с известным панславистом Вацлавом Ганкой (которому эти стихи и были отосланы, и появились в чешской печати раньше, чем в русской). Обратим внимание к тому же, что Византия в этом стихотворении никак — ни прямо, ни косвенно — не упоминается:

Беззвездная полночь дышала прохладой,
Крутилася Лаба, гремя под окном;
О Праге я с грустною думал отрадой,
О Праге мечтал, забываясь сном.

Мне снилось — лечу я: орел сизокрылый
Давно и давно бы в полете отстал,
А я, увлекаем невидимой силой,
Все выше и выше взлетал.

И с неба картину я зрел величаву,
В уборе и блеске весь Западный край,
Мораву, и Лабу, и дальнюю Саву,
Гремящий и синий Дунай.

И Прагу я видел: и Прага сияла,
Сиял златоверхий на Петчине храм:
Молитва славянская громко звучала
В напевах, знакомых минувшим векам.

И в старой одежде святого Кирилла
Епископ на Петчин всходил.
И следом валила народная сила,
И воздух был полон куреньем кадил.

И клир, воспевая небесную славу,
Лил милость Господню на Западный край,
На Лабу, Мораву, на дальнюю Саву,
На шумный и синий Дунай.

В Праге это стихотворение было напечатано в 1852 году в журнале “Lumir”, под заглавием “Basen na Prahu” («Стихотворение о Праге»); в России — в 1856 году, одновременно в «Русской беседе» и в «Москвитянине», под заглавием «Мечтание». Оно, собственно, и построено как «мечтание» о всеславянском единении — и единение это мыслится прежде всего как единство *веры*: в поэтическом «сне» возникает видение «златоглавого» (т. е. православного) храма на пражском холме Петршин — на месте знаменитого католического костела Св. Лаврентия. Именно с православием связывается и «молитва *славянская*»; внешними атрибутами ее становится и епископ в «одежде святого Кирилла», и «куренье кадил» — атрибуты собственно православного богослужения. Посылая это стихотворение Ганке, Хомяков комментировал: «Я вспоминал ваши последние

слова об единстве веры, без которого нет полного единства в народах, и не то во сне, не то наяву написал следующие стихи»*.

Вацлав Ганка в середине XIX столетия выступал своеобразным символом идеи «всеславянства». Прославленный ученый, открыватель (а вернее, создатель) так называемой «Краледворской рукописи», содействовавшей пробуждению национального чешского патриотизма; русофил, стремившийся сделать русский язык языком межнационального общения славянских народов и много сделавший для знакомства чехов с русской литературой; наконец, создатель панславистской политической утопии, «крамольной» как в России, так и в порабощенных южно- и западнославянских государствах... Тютчев еще в 1841 году посвятил ему стихотворение «К Ганке» («Вековать ли нам в разлуке?..»), после которого тема исторических судеб и будущего единения славянских народов стала основой его политической лирики. А тот же Хомяков летом 1847 года посвятил Ганке еще два стихотворения, в которых идея «всеславянства» была выражена еще более четко: «Воссияет день прекрасный, / Братья станут заодно...» Впрочем, и в этом поэтическом рассуждении она проявляется как раз в цитированных Щедриным стихах, где через запятую поминаются реки, на которых проживают славяне разных стран и языков: Лаба, Морава, Сава, Дунай...

То обстоятельство, что эти «славянские» реки возникают у Бородавкина в связи с его «мечтанием» о присоединении Византии, свидетельствует о глубоком интересе глумовского градоначальника к историософским проблемам. Дело в том, что Византия в исканиях русских панславистов воспринималась как необходимый символ славянского единения. Поскольку это единение может свершиться только под эгидой России — не России как великого государства, а России как символа православной веры — то требуется обращение к истокам православия. Византия еще в античности воспринималась как земля, приближенная к «святилищу небес» — по этой самой причине римский император Константин Великий, принявший христианство, перенес сюда (в 324–330 гг.) столицу новой империи. Возникло греческое название этой земли — Константинополь; именно здесь, на Вселенском Соборе 381 года был принят Символ веры, в котором излагалась сущность православного вероучения. В 1453 году Константинополь был захвачен турками-османами — и превратился в Стамбул (производимое от турецкого «Исламбол», государство мусульман). Надлежало — для объединения славян на православной основе — вновь «отвоевать» этот символ православия.

* Хомяков А.С. Полн. собр. соч. М., 1900. Т. 8. С. 465.

Русские панслависты настаивали на этом как на исторической задаче. Тот же Тютчев в 1849–50 годах (в материалах к незавершенному трактату «Россия и Запад») формулировал эту задачу с оглядкой на события античности: «Удаление Империи из Рима и перенесение ее на Восток. Это мысль христианская, которую мысль языческая пытается отрицать»**. Византийские императоры и патриархи объявили христианский Константинополь «вторым Римом», наследником славы и могущества древнего Рима. Их языческие оппоненты утверждали, что именно христианство-то и погубило Римскую Империю. Однако после падения Византии на роль «третьего Рима» (центра православия) могла претендовать Москва... Тютчев откровенно сочувствовал этой идее и так представлял «всемирную судьбу России» в стихотворении 1850 года:

То, что обещано судьбами
Уж в колыбели было ей,
Что ей завещано веками
И верой всех ее царей, —
.....
Венца и скиптра Византии
Вам не удастся нас лишить!
Всемирную судьбу России —
Нет, вам ее не запрудить!..

Идея завоевания Константинополя становилась частью «Византийского мифа». Такого рода завоевание вовсе не означало только новое территориальное приобретение России — символический смысл его заключался в торжестве русского православия в противовес историческому бессилию Запада, не сумевшего за четыре столетия освободить исконную христианскую столицу от несправедливого мусульманского завоевания. После этого «освобождения» Россия получала моральное право выступать объединителем всех славян...

К концу 1860-х годов эти генеральные панславистские идеи не получили еще того «крайнего» выражения, какое приобрели позднее (например, в трактате К. Н. Леонтьева «Византизм и славянство», 1875), — но уже, что называется, витали в воздухе и имели многочисленных последователей...

Вернемся, однако, к «Истории...» Щедрина. Странно, но и приведенные стихи, и авторские рассуждения о характере «сочинительства»

* Литературное наследство. Т. 97. М., 1988. Кн. 1. С. 218.

Бородавкина имеют своей целью одно личностное сопоставление. Вот обстоятельства работы градоначальника над своим трактатом:

«За десять лет до прибытия в Глупов он начал писать проект “о вящем армии и флотов по всему лицу распространении, дабы через то возвращение (sic!) древней Византии под сень российская державы уповательным учинить”, и каждый день прибавлял к нему по одной строчке. Таким образом составила довольно объемистая тетрадь, заключающая в себе три тысячи шестьсот пятьдесят две строки (два года было високосных), на которую он не без гордости указывал посетителям, прибавляя при том:

Вот, государь мой, сколь далеко я виды свои простираю!»

Подобные же «обстоятельства» находим в предисловии Ю. Ф. Самарина к первой публикации из трактата Хомякова «Семирамида» («Отрывок из Записок о Всемирной истории»), напечатанной во втором томе «Русской беседы» за 1860 год. В предисловии сообщается, что этот посмертный труд Хомякова был начат «тому лет двадцать назад», что автор писал его для себя, «не задавая себе целью сочинить книгу, он втягивался в работу понемногу», и после ежедневных трудов «набралось у него два толстых тома из 21 мельчайшим почерком исписанных тетрадей» (ниже еще уточнялось: «284 полулиста почтовой бумаги, исписанные мельчайшим бисерным почерком»). Указывалось также, что автор не озаглавил своего труда, но что труд этот «обнимает собою всемирную историю от древнейших племен до распада скандинавского Севера на отдельные племенные группы»*.

Хомяков далеко не случайно оказался адресатом «личностного» сопоставления с градоначальником, задумавшим «возвращение» древней Византии и присоединение ее к России. Подобные идеи — причем, вполне серьезно — Хомяков высказывал еще в 1845 году в предисловии к «Сборнику исторических и статистических сведений о России и народах, ей единовременных и единоплеменных». «Сборник...» этот, вышедший в Москве, стал первым «этнографическим» и историософским обоснованием славянофильства и панславизма. В предисловии же Хомякова тема Византии возникала очень активно и, поскольку это предисловие носило популярный характер, то Византия выглядела очень похожей на ту, «выгонные земли» которой соседствуют с глуповскими.

Хомяков рассуждает о древних славянах и «тезисно» прослеживает их историю, начиная со времени падения Римской империи.

* Русская беседа. 1860. Т. 2. С. 101–106.

Славянские племена, пишет он, занимали огромную территорию и пытались жить в мире со всеми соседями. «Примыкая северною и восточною своею границею к финно-турецким племенам, славяне много заимствовали от них в быте военном. Примыкая южными областями к Византийской империи, они принимали от нее многие стихии просвещения...» С запада славян начал вытеснять «мир германский», но не нарушил «природной особенности» их племен. И далее: «Между славянином и византийцем, после долгих и кровавых распрей, наступило время мира и союза» (В это «союзное» время славяне приняли христианство и вооружились «благовествованием веры»). Затем на славян, граничивших с «миром германским», стали действовать «соблазны Запада» — и Хомяков кратко обрисовывает историю «совращения» чехов, поляков, моравцев и т. п. Но «Провидение спасло стихию славянскую» — и это утверждение заставляет Хомякова в финале статьи высказать надежду на «возможность обновления» и последующего воссоединения мировой славянской «стихии»*. Именно наивность подобных рассуждений, критически воспринятых им еще в юности, и высмеивает Щедрин в приведенном выше пассаже о Византии.

Но при этом возникают два важных «отграничения».

Во-первых, в своих мечтах о «возвращении» Византии Бородавкин уповает прежде всего на «армию и флоты» — панслависты же прямо о военном вмешательстве не говорили, надеясь на мирное разрешение процесса. Впрочем, трактат Бородавкина не совпадает с реальностью: войска проходят через Глупов куда-то «мимо», совершая всё бесцельные передвижения — и это заставляет градоначальника примириться с тем, «что для политических предприятий время еще не наступило»...

Во-вторых, этот вывод Бородавкина отнюдь не соответствует исторической характеристике того времени, когда происходит действие. Последняя четверть XVIII века для России — это как раз эпоха существенных «политических предприятий», причем «предприятий», связанных как раз с нынешней «наследницей» византийских земель — Турцией. Это эпоха русско-турецких войн, завершившихся Яским мирным договором (1791) и расширивших территорию России за счет бывших «славянских» земель. Это эпоха грандиозных политических прожектов, вроде меморандума Екатерины Второй о разделе Османской империи и создании дунайского государства «Дакии» с православным монархом во главе, или

* Хомяков А. С. Соч. в 2-х т. М., 1994. Т. 1. С. 486–493.

ее же «греческого проекта», в котором замышлялось, после завоевания Константинополя, создать огромную «восточную империю», передав ее внуку Екатерины, Константину... Это как раз та эпоха раздумий о превращении «бывшей Византии» в «губернский город Екатериноград», которые наличествуют в проекте Бородавкина...

Многие из размышлявших о политике Екатерины в XIX веке — а в числе этих многих, в частности, и Пушкин — указывали на непоследовательность того решения «славянской» проблемы, которая обнаружилась с окончанием русско-турецких кампаний, блистательно проведенных в XVIII столетии. В 1822 году в «Некоторых исторических замечаниях» Пушкин дал показательное примечание: «...Дунай должен быть настоящею границею между Турциею и Россией. Зачем Екатерина не совершила сего важного плана в начале фр<анцузской> рев<олюции>, когда Европа не могла обратить деятельного внимания на воинские наши предприятия, а изнуренная Турция нам упорствовать? Это избавило бы нас от будущих хлопот». В черновом варианте примечание завершалось показательной оговоркой: «Этот вопрос может далеко завести»*. «Будущие хлопоты», о которых поминал Пушкин, не замедлили последовать: в XIX веке победоносные русские войска дважды (в 1829 и в 1877 году) оказывались под стенами Константинополя — и оба раза были принуждены соглашаться на «мягкие» условия мира, не решавшего ни «византийской», ни «всеславянской» проблемы. А те историософские «дали», в которые могло бы завести длительное муссирование намеченного Пушкиным вопроса, были наглядно продемонстрированы в работах и высказываниях многочисленных русских панславистов второй половины столетия...

Щедрин, тоже столкнувшийся с той же проблемой, уловил во всех без исключения вариантах ее решения коренной российский парадокс. Бородавкин, как мы помним, оставил свои мечтания о Византии («понял, что для политических предприятий время еще не наступило») и решил ограничиться «насущными потребностями края», т. е. «войнами за просвещение»... На этом пути градоначальник уже имел предшественника — Двоекурова. И решил продолжить его благородное дело.

Обстоятельства «просветительских» войн хорошо известны — и странным образом напоминают реальные обстоятельства таких «просветительских» кампаний русского правительства, как, например, появление раскола и последующая двухсотлетняя борьба с «древле-православными христианами». Причиной раскола были, как известно,

* Пушкин А.С. Полн. собр. соч. АН СССР, 1937–1949. Т. 11. С. 15, 289.

завоевательные «помыслы» царя Алексея Михайловича: он стремился стать вождем «всемирного» православия — а потому ратовал за необходимость «исправить» исторические «издержки» православного богослужения в России... А потом гонения на старообрядцев усиливались как раз при тех царях, которые стремились продемонстрировать собственные великодержавные амбиции на «мировое» руководство всеми православными, живущими не в России, — таковыми были Петр Великий, Николай Первый, Александр Третий... В основе «войн за просвещение» оказывалась привычная «западническая» политика русского самодержавия. Но эта *западническая* направленность «просветительских» войн могла благополучно уживаться с «любовью к славянам» и мечтами о «всеславянстве» — подобные призывы, по мысли Щедрина, ничему не мешали... Ведь «войны за просвещение» запросто могли обернуться «походами против просвещения».

Показателен и странный финал деятельности градоначальника Бородавкина. Согласно указанию в «Описи градоначальникам...», он «умер в 1798 году, на экзекуции, напутствуемый капитан-исправником». Это указание ориентирует на «невеселый» конец бородавкинских предприятий, которые привели к «экзекуции» и прочим нехорошим вещам... Однако в основном рассказе нет ни слова об «экзекуции» — напротив, сам Бородавкин выступает «экзекутором» города: «В 1798 году уже собраны были скоровоспалительные материалы для сожжения всего города, как вдруг Бородавкина не стало...» «Всех расточил он, — говорит по этому случаю летописец, — так, что даже попов для напутствия его не оказалось. Вынуждены были позвать соседнего капитан-исправника, который и засвидетельствовал ишествоие многмятежного духа его».

Опять-таки неясно: если помянутая «экзекуция» была, то присутствие «капитан-исправника» понятно, — но почему он должен был исполнять не очень свойственную ему роль попа?

Это одно из показательных «противоречий» щедринского повествования, тоже имеющее символический смысл: не все ли равно для истории города, какой финал жизни был у очередного правителя? И, соответственно, не оказывается ли открытым финал «византийского мифа»?..

